

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Куприн

В медвежьем углу

«Public Domain»

1914

Куприн А. И.

В медвежьем углу / А. И. Куприн — «Public Domain», 1914

«Когда он рассказывал мне эту историю, – а рассказывал он ее не раз, я не узнавал моего электрического капитана (капитаном его называли не без основания за то, что он был отставным капитаном, уволенным из полка для пользы службы, а электрическим – потому, что он занимал какую-то мелкую должность в конторе общества электрического освещения). Его глаза, обыкновенно мутные и уклончивые, делались ясными и твердыми. Его всегда сильный голос старинного алкоголика звучал вдруг такими нежными, глубокими тонами, каких я никогда не ожидал от него услышать, и весь он на эти несколько минут как будто бы проникался внутренним сиянием, делающим человека, даже совсем низко павшего, прекрасным...»

© Куприн А. И., 1914

© Public Domain, 1914

Куприн Александр В медвежьем углу

Когда он рассказывал мне эту историю, – а рассказывал он ее не раз, я не узнавал моего электрического капитана (капитаном его называли не без основания за то, что он был отставным капитаном, уволенным из полка для пользы службы, а электрическим – потому, что он занимал какую-то мелкую должность в конторе общества электрического освещения). Его глаза, обыкновенно мутные и уклончивые, делались ясными и твердыми. Его всегда сиплый голос старинного алкоголика звучал вдруг такими нежными, глубокими тонами, каких я никогда не ожидал от него услышать, и весь он на эти несколько минут как будто бы проникался внутренним сиянием, делающим человека, даже совсем низко павшего, прекрасным.

– Это случилось так. Три батальона нашего полка стояли в самом омерзительном из грязных губернских городов юго-западного края, а один из батальонов поочередно посылали на осень, зиму и весну на пограничную черту, за шестьдесят верст от штаба полка. Батальон, вы сами понимаете... это четыреста человек солдат и пятнадцать офицеров, включая сюда батальонного командира и трех подпрапорщиков. Конечно, за долгую зиму мы все уже успели друг с другом перессориться. Это явление наблюдается и в тюрьмах, и в долгих пароходных рейсах, и в больших семьях, и вообще всюду, где люди осуждены на вынужденное длительное, скучное сожительство. Выходили фамильные ссоры, сплетни, обидные недоразумения, проще – то, что называется в провинции, на севере – «контрами», на востоке – «козьими потягушками» а на юго-западе – «суспициями». Местные жители – католики и менониты – или чуждались пас, или мы сами, храня свое офицерское достоинство, считали неудобным входить с ними в близкое знакомство. Местная же аристократия, преимущественно польские графы, совсем не обращали на нас внимания, на наши визиты отвечали оскорбительно учтивыми трехминутными визитами и затем забывали о нашем существовании. Что же мудреного, что мы, молодые офицеры, коротали длинные зимние вечера в гостях поочередно друг у друга, пили в ужасающем количестве омерзительную водку, взятую в кредит из еврейских шинков, закусывали ее микроскопическим кусочком сала поджаренного и под аккомпанемент вдребезги разбитой гитары пели старинные, давно забытые миром куплеты...

...Когда случится нам захватить
На грязный постоялый двор,
То, не садясь еще обедать,
Мы к рюмке обращаем взор.

Тогда мы все люли-люли
Готовы петь крамбамбули.
Крам-бам-бим-бамбули,
Крам-бам-були.

Когда мне изменяет дева.
Недолго я о том грущу:
В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пущу.

Тогда мы все люли-люли...

А то еще пели мы и нежные песни. Вот, например... Тут капитан вдруг расчувствовался, всхлипнул от слез и запел самым, вероятно, фальшивым голосом на свете:

Пче-олка злата-ая,
Что-о ты шумишь?..
Все вокруг летая,
Про-очь не летишь...

Ну да ладно... не в этом дело. Я увлекся воспоминаниями. И вот, знаете, наступили рождественские праздники, и все офицеры нашего батальона, начиная от командира и кончая самым беспардонным тридцатипятилетним фендриком, потянулись в город. Женатые к женам и детям – согласитесь, они ведь не могли с собою брать их в гнусное местечко, где все дома – мазанки из глины и коровьего помета и где нет ни одного врача на случай болезни. Холостые задолго еще перед рождеством мечтали о балах в гражданском клубе и в офицерском собрании, о ярко освещенных теплых залах, о музыке, о танцах, о прелестных женских и девичьих лицах, телах и улыбках, а кое-кто и о зеленом столике, за которым можно прометать банк и оставить всех партнеров без единой копейки. Соблазн взять отпуск на рождество был так велик, что младшие офицеры решили бросить между собою жребий: кому ехать, кому оставаться в местечке по долгу службы. Но я сказал, что без всякого жребия с удовольствием останусь здесь. Этому удивились. Тогда я пояснил, что думаю воспользоваться несколькими свободными днями, для того чтобы без помехи подзубрить тактику, французский язык и уставы. Я в то время готовился в академию генерального штаба, поэтому мне охотно поверили и оставили меня в покое, с эгоистичной поспешностью и с фальшивыми сожалениями.

Теперь, говоря высоким штилем, «бросая ретроспективный взгляд» на мое прошлое, я понять не могу, что их всех так влекло в эту грязную губернскую трущобу, в сравнении с которой какой-нибудь Конотоп или какая-нибудь Чухлома кажутся столичными европейскими городами: однообразность жизни? бледность воображения? скука? тоска по людям?.. Нет, нет, я не смею осуждать их, спаси меня бог! Я только издали гляжу на вещи и события.

На весь батальон нас осталось только двое офицеров: командир седьмой роты Плисов и я, безусый субалтерн. Но Плисов давно уже лежал в постели, снедаемый последними натисками жестокой чахотки, и, таким образом, я очутился фактически властителем над жизнью и смертью четырехсот человек солдат, а также и всего местного населения.

Не будь одного обстоятельства, о котором я сейчас скажу, я бы не отказал себе в удовольствии поставить солдатам несколько ведер водки, раздать им боевые патроны, объявить по телеграфу войну соседнему государству и вторгнуться в его пределы, подобно Ермаку, чтобы потом положить новую завоеванную землю к подножию монаршего престола. Но меня увлекла совсем другая мысль. Нежная и беспокойная. Дело в том, что у командира пятой роты, у которого я был под начальством, у капитана Терехова, была жена... Нет, вернее, не жена... Видите ли, у нее был где-то законный муж, и они жили просто так... свободно... не в особенно пылкой любви, благодаря долговременной связи, но в прочной дружбе и взаимном самоуважении. Была она такая маленькая, но крепкая, великолепно сложенная женщина, с огромными серыми глазами, с крошечными прелестными ручками и ножками, страстная, живая насмешница, с открытым и пылким характером, остроумная, участливая к чужой беде – словом, очаровательная женщина и чудесный товарищ.

Конечно, вы из моих слов уже понимаете, что я был в нее влюблен со всем бешеным неистовством двадцати двух летнего подпоручика. Я почти каждый день старался посещать их, пользуясь для этого всякими поводами: служебными, дружескими и иными. Она бывала со мной неизменно кокетлива, ласкова, предупредительна и дружелюбно насмешлива. Впрочем, иногда я замечал в ее серых глазах, в самых синих зрачках, какие-то желтые топазовые искры,

не то сердитые, не то вопрошающие. Я стеснялся, робел, прятал руки под стол, не зная, куда их девать, а по ночам нарочно ходил мимо ее окна раз по двадцати туда и обратно и шептал вслух какие-то дурацкие монологи. О, сколько раз я хотел ей сказать: «Обожаемая Анна Петровна, единственная радость моей жизни, моя первая и последняя любовь, если бы вы знали, как я вас люблю!» Но трусость или застенчивость, а может, и просто тогдашнее незнание женского сердца мешали мне сделать это.

И вот на рождестве как раз представился удобный случай. Ее сердечный друг, капитан Терехов, не устоял перед соблазном доброго винта, с присыпкой винтящимися коронками и тройными штрафами, перед хорошим ужином с выпивкой, с песнями и с полковыми сплетнями. Он уехал в резиденцию полкового штаба, сказав десяток лицемерных слов и оставив жену на несколько дней одинокой, скучающей, на попечение двух денщиков.

Анна Петровна, вероятно, с удовольствием поехала бы вместе с ним потанцевать, повеселиться, поужинать, но вы сами знаете офицерское общество... оно чопорно даже в Царевкокшайске. Незаконный брак! Помилуйте! Поэтому не удивительно, что вечером двадцать шестого декабря я получил от Анны Петровны записку приблизительно такого содержания: «Отчего вы меня не навестите? Я безумно скучаю. Мне уже надоело раскладывать пасьянсы. Придите поболтать и сыграть партию в пикет. А я вас за это угощу запеканкой».

Конечно, я понесся к ней со скоростью бешеной кошки. Я только и ждал этого приглашения... И вот... уютная комната, мягкий свет висячей лампы из-под домодельного абажура, шуточная игра в карты, невинное, хотя немного высокомерное кокетство, сладкое густое вино. Душа моя блаженствует и мурлычет, точно кот на завалинке... но вдруг входит тереховский денщик и докладывает:

– Так что, ваше благородие, до вашего благородия пришел денщик его высокоблагородия капитана Плисова. Их послали барыня. Барыня говорит, что их высокоблагородие чи дуже заболели, чи умерли. Плисовский денщик подтвердил то же самое.

– Ротный лежит и не подает голоса. Обе барыни, и старая и молодая, боятся войти. И я сам спугался, аж подколенки трясутся.

– Почему не сбегал к доктору Бергеру? (У нас при батальоне своего военного доктора не было, а на все местечко существовал всего лишь один врач Бергер, старик семидесяти лет.) – Бегал, ваше благородие. Евонная прислуга только и сказала, что после девяти часов вечера доктор никого не принимает.

Ах, черт! Надо было одеваться и идти. Но меня остановила Анна Петровна:

– Подождите немножко. Я тоже с вами. Я, может быть, буду чем-нибудь полезна. Мы пошли. Я вел ее под руку. Было градусов восемнадцать – двадцать мороза и притом сильный ветер. Дорога к Плисовым шла все время в гору. Я должен был прилагать много усилий, чтобы удержать себя и мою спутницу от падения. Первое, что я увидел в квартире Плисовых, – это его жену и тещу, которые, трясясь от ужаса, забились в какой-то чулан или кладовку около кухни. Мадам Плисова была высокая костлявая женщина, в пенсне, с маленьким лицом мартышки, полковая Мессалина, через любвеобильное сердце которой прошли все молодые, вновь назначенные в полк подпоручики, в том числе год тому назад и я... А мамаша, ну представьте себе мартышку вчетверо старше, злую и важную. Младшая из них (надо сказать, что она у нас была в полку самая страстная театральная любительница) кинулась ко мне и, трагически ломая себе руки, закатывая к небу глаза и хрустя пальцами, вскричала:

– Ради бога! О, ради самого создателя. Только вы один и можете нам помочь! Мы не могли достать врача.

– В Одессе к твоим услугам была бы тысяча врачей, – сказала басом и в нос мамаша.

– Мы не могли... Я вас прошу и заклинаю всем, что вам дорого... Войдите и посмотрите, что с ним! Мы слабые женщины и растерялись от ужаса! Я попросил Анну Петровну успокоить, насколько это в ее силах, слабых женщин и вышел в другую комнату. На узенькой

холостой постели, прикрытый до пояса одеялом, лежал капитан. Голова его покоилась высоко на трех подушках. Глаза были открыты, но неподвижны и глядели с жуткой пристальностью. Из левого угла рта вытекла и застыла на шее и на белой ночной рубашке вначале узкая, а потом все более и более широкая красная струя крови. Я положил руку ему на лоб. Но так как на улице было холодно, а я шел к Плисовым без перчаток, то не мог уловить разницу между температурой его тела и моих пальцев. Тогда я попросил, чтобы мне дали возможность согреть руки. Для меня открыли заслонку печки. Однако тут же я вспомнил, что надо в этих случаях пощупать пульс. Увы! Пульс и температура с убедительностью сказали мне, что душа капитана покинула его брненное тело. Вдова и теща тотчас же, точно по команде, подняли громкий вопль. Бог весть откуда-то, точно из-под земли, явились в комнаты две грязные, толстые и чуть ли не пьяные старухи. Они с привычной ловкостью раздели капитана догола, и я сам помог им положить его на пол. С цирковой быстротой они намылили труп мыльной мочалкой, окатили водой, вытерли простынями и одели в чистое нижнее белье. Ах, никогда я не забуду этого ужасного желтого тела, этих ног и рук, подобных членам скелета, обтянутого желтой кожей, этих ребер, выпирающих наружу, как у дохлой лошади.

Старухи справились с брюками сравнительно легко. И мундир они надели на него благополучно, но застегнуть крючки им никак не удавалось. Пришлось опять мне прийти к ним на помощь. Ну-ка, попробуйте когда-нибудь застегивать покойника на крючки мундира, и вы узнаете, что это за штука! Я ничего не мог поделаться с этим упрямым. Тогда я сказал мысленно сам себе: «Милый Гермоген! Неизбежно придется надавить ногой ему на живот. Но, очевидно, у него скопились в желудке газы. Поэтому будь готов к тому, мой ангел, что покойник неожиданно может рывкнуться. Итак, держи себя в руках».

И правда, когда я с громадными усилиями, надавив коленом на живот покойника, застегивал последнюю петлю мундира, труп капитана вдруг зарычал. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Но в это время вошла Анна Петровна, спокойно закрыла глаза покойнику и положила на них два медных пятака. Мои обязанности были окончены. Я должен был проводить Анну Петровну домой. Во всю дорогу мы ничего не говорили. Когда мы остановились у дверей ее дома, она сказала:

– Зайдите на минутку ко мне. Я вам предложу стакан вина. Мне, право, жутко остаться сейчас одной.

Самые серьезные моменты в жизни как-то туго запоминаются. Смутно помню, что я стоял, прислонившись к теплой печке и грея об нее озябшие руки, – мне казалось, что на них запечатлелся холод умершего человеческого тела. Анна Петровна ходила взад и вперед по комнате, зябко кутаясь в оренбургский платок.

– Смерть! Какая гадость: жил человек, мыслил, страдал, надеялся, любил, ревновал. И вдруг ничего от него не остается, кроме падали! Что за ужасный закон! И всего страшнее – его неизбежность.

Она вдруг подошла ко мне близко, совсем близко. Руки ее были опущены вдоль тела. Ее ресницы трепетали, и губы полуоткрылись над прекрасными, неправильного строения зубами. Мне казалось, что я чувствую тепло, исходящее от ее тела, и слышу аромат ее волос и кожи. Потом... неожиданным быстрым движением она обвила свои руки вокруг моей шеи и прижалась к моим губам своими жаркими открытыми губами...

А потом, уже под утро, провожая меня до передней со свечой в руках, она сказала мне в то время, когда я надевал пальто и калоши:

– Мой милый... Запомните твердо: наша ночь была первой и должна остаться последней. Это был праздник, победа жизни над смертью. Прошу вас, не бывайте у нас больше. Великих моментов нельзя повторять, как и нельзя передразнивать вдохновение. Сначала, я знаю, вам будет тяжело и обидно, но когда вы станете старше и мудрее, вы поймете, как я сейчас глубоко права.

И вот в то время, когда я целовал ее руку, она нежно и холодно, по-матерински, поцеловала меня в лоб.

Наутро я посетил моего покойного товарища. Он лежал уже в гробу. Над ним тщетно старались выжать слезы вдова и теща. А его лицо улыбалось улыбкой какого-то неземного блаженства. Ну, что ж! Я с вами откровенен... мне стыдно и страшно было вспоминать, что вчера я почти ту же безвольную, спокойную и блаженную улыбку видел на губах Лины Петровны, когда она подошла ко мне так близко, близко, вплотную...

1914